

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

# К Р И Т И Ч Е С К И Е Э Т Ю Д Ы

(„Русская литература“)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
КНИЖНОГО СЕКТОРА ГУБОНО  
ЛЕНИНГРАД  
1925

## ГЛАВА VII.

Волжский. Очерки о Чехове.

«Задача этой книжки—рассмотреть идейное содержание литературной работы Чехова под одним строгоопределенным углом зрения, уяснить, хотя бы в самых основных чертах, общий смысл его творчества». Так определяет свою задачу г. Волжский, и выполняет ее с большим успехом. Книжка написана красиво, увлекательно, и что важнее всего, выдвигает вопросы первостепенной важности в легкой, доступной всякому форме. Из шести очерков, составляющих книжку, наибольший интерес представляет первый: «Конфликт идеала и действительности». Г. Волжский, в полном почти согласии с г. Михайловским, устанавливает двойственность в творчестве Чехова: с одной стороны, это пантеист, поклоняющийся действительности, стремящийся примириться и других примирить со всею пошлостью обыденщины, им же самим изображаемой с мучительной правдивостью, и примирить на соображениях о возможном, скрытом от нас нечеловеческом смысле жизни; с другой стороны, это идеалист, сознающий, какая пропасть отделяет действительность от идеала, сознающий непроходимость этой пропасти — и потому идеалист-пессимист.

Г. Волжский справедливо предупреждает нас: «с такими истертыми, заношенными понятиями, как идеализм, следует обращаться как можно осторожнее». Из разных смыслов, придаваемых этому слову, г. Волжский выбирает два: «под словом «идеал» разумеется не только высочайшая точка нравственного мира, конечный, нравственный императив, но также представление о способе, каким может быть достигнута эта точка, выполнен этот императив. Понятие идеала обнимает здесь собой также и путь, ведущий к его осуществлению в жизни».

Г. Волжский настаивает на правильности первого словопотребления. «Моральная ценность идеала нимало не поблекнет, не потеряется, даже и в том крайнем случае, если он окажется совсем неосуществимым, ни в настоящем, ни в будущем, совершенно так же, как не померкнет пепельный блеск далекой луны,

не погаснет ярко сияющее солнце от того, что ни луны ни солнца мы достать не можем, и отделяющая их от нас бездна останется навсегда непроходимой». И если мы уверены в неосуществимости идеала, то заслуживаем имени пессимистических идеалистов. По мнению г. Волжского, на высотах пессимистического идеализма удержаться чрезвычайно трудно: человек либо преклоняется перед действительностью и начисто отрекается от всякого идеализма или, вопреки логике и голосу действительности, повинувшись жгучему желанию, переходит к идеализму оптимистическому». Нравственно-желательное облекается в костюм не только возможного, но даже необходимого; тяжелая ответственность перед собственным моральным императивом таким образом облегчается, делаясь уже естественной необходимостью, требованием самой жизни». «Младенческому состоянию сознания обыкновенно присуща ребячески-наивная вера, что должна же мировая жизнь считаться с требованиями человеческого разума и человеческой справедливости», поясняет далее г. Волжский.

Понятное дело, что человек, уверенный, что необходимость «сама тащит колесницу жизни к идеалу» может усестись в ней с равнодушным комфортом, лишь изредка приветствуя грядущее громкой осанной, да иногда понукая ленивую действительность, чтобы она прибавила рыси. Оптимистический идеализм мало чем отличается от оптимистического пантеизма. Я даже не понимаю какая тут разница? «Пройдет время, и мы уйдем, навеки нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить!» Эту тираду г. Волжский считает пантеистической, таковой же находит он и тираду Сони из «Дяди Вани», которая рекомендует «трудиться для других, и теперь, и в старости, не зная покоя», а за гробом «бог сжалится», там отдых, там «жизнь прекрасная, мощная». Это пантеизм или, что по мнению г. Волжского тоже, атеизм (?). Но это как две капли воды похоже на оптимистический идеализм: на лицо бог, бессмертие, все обычные верования «младенческой души».

Все, приводимые г. Волжским, речи Чеховских «пантеистов» сводятся к тому, что надо жить, как живется, а там кто-то другой, — то ли бог, то ли судьба, — приведут все к лучшему. Это ли не идеализм? Ведь «пантеисты» Чехова, хотя и уверены, что всякая мерзость жизни нужна для лучшего будущего, однако мерзости так мерзостями и называют, и мирятся с ними только потому, что верят в какую-то вне людей сущую силу, которая всем заправляет и ведет все к лучшему, т. е. к идеалу.

Но каково было наше удивление, когда мы убедились, что и представители пессимистического или героического идеализма говорят точь в точь такие же тирады. Г. Волжский рекомендует следующие строки, как образец пессимистического идеализма: «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя, делайте добро! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно быть, а есть жизнь, и если она имеет смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Есть жизнь, есть нравственный закон, высший для нас закон... Делайте добро». Делать добро не значит ли «трудиться для других?» А вера во что-то разумное и великое также ясно высказывается и «в пантеистических» тирадах.

Но если оптимистический идеализм и пантеистический оптимизм приводят к тому, что человек мирится с окружающим и живет «как бог послал» или «сносит испытания, которые пошлет судьба», то, быть может, пессимизм героический выведет нас далеко из обыденщины? Г. Волжский очень красиво рисует этот героический пессимизм. «Высоко, высоко, над холодным миром, окутанным беспросветной мглой, далеко от тусклой, бесцветной действительности, в стороне от бессмысленной житейской суеты есть прекрасный мир идеала, яркий, красивый, содержательный, полный смысла и нравственного тепла. Сквозь темную и холодную мглу действительности жизни этот далекий мир идеала кажется только небольшой светящейся точкой, подобно тем особенно ярким звездам, которые загораются над нами в темные ночи. Свет от этих бесконечно далеких светил доходит до нашей земли, ласково манит к себе наши взоры, но он не греет холодной земли, не рассеивает царящей кругом темной мглы, не приносит жизни и силы... И никогда, никогда,

эти светящиеся точки не спустятся со своей высоты, не приблизятся к миру, не согреют, не оживят его собою, никогда не сделают его жизни такой же красивой, такой яркой, сияющей, как они сами. И никогда ничто не победит страшной власти раз'единяющего их пространства, темная и холодная бездна вечно останется непроходимой. Светящиеся точки навсегда останутся неприступными, никогда не одолеют леденящего дыхания властной действительности. Они только светят, но не греют».

Вся разница, какую я при всем внимании могу усмотреть между красивыми фразами Сони и г. Волжского, та, что, веруя в существование «иной жизни», где-то в «ином мире», они разного от него ждут. Соня после смерти ожидает там очутиться, а г. Волжский согласен только издали любоваться небесным Иерусалимом.

По правде сказать, несколько странно, что из всех этих трех мирозерцаний, якобы столь различных, делается один и тот же моральный вывод, как: «будем работать, будем делать добро». Тут, очевидно, говорит простое, доброе сердце, а отнюдь не логика: в самом деле, если мерзавец также необходим в общей гармонии вселенной, как и труженик, страдалец, то страдальцем быть прямо глупо, трудиться для других—значит быть ослами, на которых ездят более умные, а логичнее всего, предоставив себе самому, «пить кипрское вино и целовать красивых женщин», все равно одно на одно выйдет. Точно тоже должен предпринять и оптимистический идеалист: раз все придет к доброму концу силой стихийного процесса, то воспоем хвалу всевышнему и давайте веселиться. Да и скорбному героическому идеалисту лучше всего веселее смотреть на жизнь: все равно идеала в нее не внесешь никакими судьбами.

Сознание полной неосуществимости идеала, неминуемо приводит к расслабленной мечтательности: грубая действительность оставляется в пренебрежении, как такой материал, из которого ничего нельзя сделать, а что же тогда остается, кроме нездоровой грезы?

Что касается нас, то мы прямо-таки отказываемся признавать имя «идеала» за неосуществимой грезой. Идеал есть цель активного человека, духовно построенный образец, к которому творчески приближается действительность.

Всем идеализмам, перечисленным г. Волжским, противостоит «идеализм творческий», верящий в то, что жить—значит пересоздавать жизнь согласно желаниям своего творческого существа, а что иначе жить не стоит! «Неужели, читатель, если история на все ваши чаяния ответит в конечном счете отрицательно,—а кто, кроме фаталистов, наверное может это знать?—вы откажетесь от своего нравственного идеала, объявите его ничтожеством?.. Конечно нет, если вы честный человек», говорит г. Волжский. Если я честный человек, то, убедившись в химеричности моих желаний, в невозможности работать в намеченном направлении, я либо найду в себе силы пересоздать идеал, создать новые цели, осуществимые в действительности, либо умру, «брошусь на свой меч» как древний римлянин, потому что меч этот станет мне не нужен, а жизнь, лишенная творчества, безвкусной. Я могу примириться с оптимистами какого угодно типа: пусть благодушествуют или трудятся, это в том и другом случае все же люди жизни, но героический идеалист г. Волжского, признаюсь, мне прямо противен: работает ли он,—это работа бесцельная, толчение воды в ступе, топтание на месте; ведь он же сам знает, что ничто ни на иоту не приблизит действительность к идеалу; стонет ли он, созерцает ли свои бесконечно удаленные идеальные созвездия,—всегда это больной, полумертвый человек, он болен жизнебоязнью. Да и что заставило его так рано отдаться героическому пессимизму? Правда, никто с уверенностью не может сказать, можем ли мы завоевать жизнь, полную смысла и силы, но никто не может хныкать, что она недостижима. Поживем, поберемся, увидим. И тот, кто так отвечает живет уже хорошей жизнью. И, между прочим, г. Волжский напрасно злоупотребляет Ницше, который приветствует тех, «кто умирает в борьбе за великое невозможное». Во время борьбы такой боец может надеяться всеми фибрами боевой души, бороться же за явно безнадежное—глупо (если это только не спорт от нечего делать), тогда остается «бросаться на меч». Но пусть после веков борьбы, жизнь, способная удовлетворять всем лучшим потребностям человека, окажется недостигнутой, тогда — они, павшие бойцы, удовлетворяют требованию Ницше, и—что же?!—тогда они сами послужат смыслом земли, ибо они знали счастье творчества,

полного надежд и сомнений, побед и разочарований. Вот этого творческого, боевого идеализма, идеализма поистине трагического и героического, у Чехова нет.

Вторая статья в книжке г. Волжского носит название «Власть обыденщины». Несомненно, г. Волжский, указывая на то, что власть будничной, мизерной обывательской канители над душами людскими является основной темой Чехова, вполне прав, но г. Волжский неожиданно приравнивает «обыденщину» к «действительности», да еще поясняет: «действительность — это бессознательное, среда, необходимость, нечто внешнее, прямо противоположное сознательному стремлению личности к идеалу». Удивительная вещь! Мы думаем, что уверить активного человека в правильности этого положения г. Волжскому будет так же трудно, как доказать художнику, что его мускулы (бессознательное), мрамор и мастерская (среда) и основанная на знании свойств материи техника (необходимость) прямо противоположны его стремлению создать статую. По г. Волжскому действительность непременно равна обыденщине и обывательщине, копеечным счетам, бестолковщине и т. п. Но боже мой! В действительности так много захватывающе прекрасного, грандиозного, что всякая греза непременно заимствует у нее свои краски. И почему «власть стихийного начала жизни» и «футляр обывательщины» одно и то же? Ведь обывательщина потому и гадка, что она «футляр», что она убивает и принижает стихийное начало жизни, т. е. жажду роста, жажду мощи, простора, размаха! Но г. Волжский ничего хорошего в действительности видеть не хочет и даже надеяться на исправление ее не позволяет: «здесь возможна борьба для тех, кому несносно властное иго действительности, но нет надежды на победу». Да с таким взглядом на вещи жить не только страшно, но унижительно и даже прямо подло. «О! хулители жизни, о! проповедники смерти, как бы хорошо было, если бы вы действительно умерли!» — говорит Заратустра. И ведь добро бы «идеалы» Чехова, или г. Волжского не носили на себе следов действительности, граничили бы с наимистичнейшими грезами духовидцев! так нет! — «где-то на этом свете, есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная ласк, любви, веселья и раздолья», — вот мечта Чеховских героев. Неужто это не достижимо? Мы думаем, что

кое-где оазисами такая жизнь уже есть, и, по правде сказать, рисуем себе, как идеал, нечто несравненно более грандиозное, а именно жизнь, полную наслаждений познания, творчества, побед над стихиями, полную чувства растущей мощи, совершенствования все более чудесного, сверхчеловеческого; но и в исполнимости этого идеала отнюдь не видим причин разочароваться; и невольно сдается, что кричать о невозможности победы склонен тот, кто не хочет вступить на путь борьбы.

В двух следующих статьях г. Волжский дает галлерею Чеховских типов, сначала «равнодушных», потом «беспокойных и нудных». Среди последних г. Волжский обещал указать и типы «активно-протестующие». Это нас очень заинтересовало, ибо мы таких у Чехова не встречали, хотя неоднократно, с наслаждением его перечитывали. Г. Волжский заимствует у г. Андреевича такую характеристику «беспокойных» героев Чехова: «это прежде всего нежные люди, хрупкие организации, артистические натуры, с детской потребностью ласк и утешения, с постоянной готовностью ныть, жаловаться на свою судьбу, но не на людей,— чему мешает их самолюбие,— глубоко честные, но без всякой выдержки, хватающиеся за револьвер или стакан водки всякий раз, как жизнь требует у них решительного поступка. Это совсем не работники, это — люди мгновенного героизма с ясно выраженными болезнями воли, растерянным мирозерцанием и каким-то органическим испугом перед жизнью. Всякий коренной восьмидесятник узнает в них самого себя, вслух, разумеется, выругает, в душе пожалеет, а отчасти, пожалуй, и одобрит: есть несомненно и душевная красота и стремление к духовной полноте личности. Это доподлинные продукты общественной эволюции в тяжелую минуту растерянности и нарождения новых начал, это люди тоскливого искания» и г. Волжский добавляет: «г. Андреевич очень метко называет активно-недовольных героев Чехова людьми тоскливого искания». Так вот они каковы, активные люди? Ну, бог с ними! Неужто других, менее «нежных», так уж и нет? Г. Волжский говорит: «идеалы» их так недостижимо высоки, что они не знают, как к ним приступить,—но вот «неизвестный человек» рассказал о своем «действительно необыкновенным» прошлом, вызвал во-сторг жаждущей света женщины, в его «деле» она нашла смысл

и радость и воскликнула; «вербуйте меня!» а тот же неизвестный человек поет: «хочется прожить жизнь бодро, осмысленно, красиво»... Но ведь она была у него, эта жизни! Но его потянуло «к обывательщине», явилось пристрастие «к юбкам, кастрюлькам, пеленкам». Конечно, ежели кого тянет к обывательскому уюту, тому лучше всего верить, что к идеалу нет никаких путей, можно, оставаясь идеалистом, отдаться и обывательщине с сокрушенным сердцем. Домашнему гусю лучше не пробовать летать, а то разобьется; лучше всего ему, полощась в своей луже, разглагольствовать о жажде летать по поднебесью — жажде, увы! неисполнимой... а когда высоко, высоко над головою летят дикие, вольные братья — зажимать глаза.

Конечно, количество героически-пессимистических идеалистов должно возрастать с ростом темных сил, с увеличением трудности борьбы за идеал. Очень любопытно, что в V главе, озаглавленной «Параллели», г. Волжский сам находит, что «исходным пунктом Чеховского пессимизма являются настроения, навеянные общественной реакцией и интеллигентским кризисом 80-х годов... под их тяжестью образовалась и та непроходимая бездна безнадежности, которая сообщает конфликту идеала и действительности у Чехова его крайний, безусловно неразрешимый характер». Совершенно справедливо замечает г. Волжский, что тогда «очень уж трудно было среди беспросветной тьмы искать дорогу, ведущую от действительности к идеалу, еще труднее найти». Но между «очень трудно» и «абсолютно невозможно» опять-таки целая «абсолютная пропасть». Чем большая трудность становится поперек дороги истинному, активному идеалисту, тем более трагическим становится его положение. Жить, не творя, не приближаясь к идеалу, невозможно, и если нет к нему путей в данное время, и если нет возможности создать новый идеал (потому что в истории часто одни идеалы сменялись другими, более исполнимыми и ничуть не менее возвышенными), остается умереть, «расплатиться» и уж, конечно, так, чтобы хоть смерть эта была праздничной, яркой, достойной смертью бойца за идеал. Проводя параллели между Надсоном, Гаршиным и Чеховым, г. Волжский усиленно останавливается на таком трагическом положении, но упускает из виду, что, в отличие от Гаршина и Надсона, Чехов нигде даже такого

героического самоубийства не нарисовал, самоубийства, которое уже само по себе есть что-то светлое, свидетельствующее о силах человеческой души и до некоторой степени ручающееся за возможность, конечно, победы. Напротив того, у Чехова на каждом шагу встречается уверенность в «гармонии будущего», в «смысле жизни», лежащем вне человека, человеку непонятном, между тем как такого оптимистического фатализма не было ни у Надсона, ни у Гаршина. У Надсона и Гаршина сказывается отчаяние бойцов, на которых нагрянула непобедимая темная сила; у Чеховских же героев нет и воинственного духа, это — «нежные люди».

В последней главе г. Волжский говорит о нашумевшей в это время повести «Мужики».

Вся книжка г. Волжского производит необыкновенно эстетическое впечатление, как красотой изложения, так и глубокою вдумчивостью автора, только не чувствуется в ней никакой жизненной бодрости; в этом отношении критик подстать писателю. ✓

Во всяком случае, очерк г. Волжского — вещь очень и очень интересная.

---